
П. Вайль, А. Генис

Русский Бог. Гоголь

Когда Гоголя объявили русским Гомером, он оказался перед необходимостью стать Гомером. Как это часто случается, критика и общественное мнение указали художнику место, которому он отныне обязан был соответствовать.

«Мертвые души», вышедшие в 1842 году, произвели смятение в среде читающей России. С одной стороны, качество текста и грандиозность размаха сомнений не вызывали. С другой — смущало очевидное уродство ноздревых, плюшкиных, коробочек. Литературная элита, хорошо знакомая по предварительным чтением с гоголевской книгой задолго до ее публикации, готовилась как-то откликнуться на выход в свет главного произведения лучшего писателя России. Счастливая идея пришла в голову Константину Аксакову: Гоголь — Гомер!

Одним махом снимались все противоречия: художественное совершенство образов настолько высоко, что их нравственные качества несущественны — как не обсуждается этическая сторона поступков Гектора и Ахиллеса. Гомеровская концепция оказалась удачной находкой, и спор шел, в основном, хорошего с лучшим: Гоголь безусловный Гомер, или всего только Гомер российского масштаба, как полагал Белинский. Вариации этой точки зрения были так популярны, что Катков писал в начале 40-х годов: Только и слышишь, что Гоголь де Гегель, да Гомер...»

Сам Гоголь с такой аналогией был вполне согласен. Он и не скрывал, что взялся за русскую «Одиссею», и первый том — лишь скромная заявка на подлинный эпос. Его самого явно смущало безобразие персонажей «Мертвых душ»: они никак не выглядели эпическими героями, на которых следовало ориентироваться России. Поэтому в тексте первого тома звучат обещания «русского богатыря» и «прекрасной девицы», а за семь страниц до конца Гоголь клялся, что читатель увидит, «как предстанут колоссальные образы, как сдвинутся сокровенные рычаги широкой повести, раздастся далече ее горизонт и вся она примет величавое лирическое течение». Иными словами, не следует думать, что одни только собакевичи топчут русскую землю толстыми ногами.

При этом, опытный профессионал, Гоголь сознавал, что до воспаренного русского человека его мечты — еще далеко. И действительно, во втором томе такой человек лишь намечен (образ князя), а откровения третьего тома так и не состоялись. Между тем, Гомером Гоголя уже называли. Следовало закрепить эту линию уже имеющимися средствами. В письме Языкову содержится многозначительное замечание: «“Одиссея” есть решительно совершеннейшее произведение всех веков. Объем ее велик; “Илиада” перед нею эпизод».

Великую по объему, свою совершеннейшую русскую «Одиссею» — «Мертвые души» — Гоголь писал. Писал и резонно мог задавать себе вопрос: где же «Илиада»? Не хватало «эпизода», малого эпоса.

Поэтому Гоголь переписал «Тараса Бульбу».

Тот «Тарас Бульба», которого практически никто, кроме специалистов, не читал, был создан за семь лет до этого (1835) и вышел в сборнике «Миргород». В составе сборника публикуется по сей день и новый «Бульба». Это нелепо: полностью переписанная повесть не имеет ничего общего с другими вещами «Миргорода» — «Старосветскими помещиками», «Виём», «Повестью о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Так было не всегда. «Тарас Бульба» в первом варианте оттенял своей просторной лихостью идиллический уют «Помещиков», потешные сражения «Повести», потусторонний страх «Вия». Явно в расчете на соседство «Бульбы» в других повестях

«Миргорода» задуман комический эффект таких, например, изумительных диалогов:

« — Я сам думаю пойти на войну; почему ж я не могу идти на войну?..

— Где уж ему, старому, идти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей-Богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит.

— Что ж, — говорил Афанасий Иванович, — и я его застрелю».

Рядом с настоящей войной «Тараса Бульбы» особое значение получали и сражение с нечистой силой в «Вие», и спор в «Повести» о ржавом ружье, из которого стрелять можно «разве по втором пришествии».

Сборник «Миргород» был задуман — и написан! — как цельное произведение.

Он и появился таковым — его четыре повести представляют четыре глобальных аспекта человеческого существования: мир, война, жизнь, смерть.

Но ответственность перед читателем, назвавшим его Гомером, побудила Гоголя переписать «Тараса Бульбу», как позже ответственность перед партией заставила Фадеева переписать «Молодую гвардию». При всем различии достоинств этих книг, случаи схожи: и там и тут героизм получил идеологическое обоснование.

Правда, надо помнить, что для Гоголя идеология (православие и патриотизм) присутствовала не целью, а средством. Целью был — эпос. В нем «Илиада» должна была предварять заветную «Одиссею», которую Гоголь так и не создал, зато проблему «Илиады» разрешил с блеском. Для этого ему, правда, пришлось разрушить стройное здание «Миргорода». Но зато российский читатель получил настоящую эпическую поэму «Тарас Бульба» — единственную в своем роде в русской литературе.

Вырванный из сниженного окружения «Миргорода», «Тарас Бульба» был надежно забыт в пору увлечения маленьким человеком — пору, которая продолжается и сейчас. Даже в краткий период революционной романтики героями все-таки делались люди со множеством мелких правдоподобных недостатков, как персонажи фадеевского «Разгрома», шолоховского «Тихого Дона», как бабелевские конармейцы или даже Чапаев.

Герои же «Бульбы» — грандиозно возвышаются в русской литературе рыцарями удачи, силы, красоты, удали. Если им не хватает идей переустройства страны и мира, то лишь потому, что они — всего только предтечи тех идеальных образов, которые должны населять ненаписанный третий том «Мертвых душ».

На богатые и цельные образы «Бульбы» — как на «Илиаду» — можно опереть полноценного положительного героя, задуманного Гоголем. Но Гоголь не дописал свою «Одиссею», и идеальный положительный герой в русской литературе так и не появился.

Гоголь, разумеется, предвидеть этого не мог. Он ставил перед собой задачу создать совершенного русского человека. В поисках такой гармонии эмоции и интеллекта Гоголь действовал постепенно и в своей «Илиаде» представил героев, совершенных эмоционально.

Персонажи «Бульбы» чувствуют сильно, ярко, искренне. Их мощная душевная энергия не знает преград. Никаких. И тут Гоголь выказывает себя истинным эпическим мастером. Как у Гомера равно великолепны враги Гектор и Ахиллес, так величественен и прекрасен предатель Андрий, который «продал веру и душу», по мнению его отца. Но это мнение Тараса, а не автора.

Предательство Андрия обставлено весьма достойно. Прежде всего, достоин объект: красавица-полячка — вовсе не банальная соблазнительница. Она не переманивает Андрия на свою сторону, а по-настоящему любит его. И вообще, полячка выступает хорошим человеком, который в виду голодной смерти тревожится не о себе, а о родителях. Вполне хорош и Андрий: он прям, смел, и видно, как автор любит его мужественным видом, свободной манерой, красивой одеждой. Он и умирает стойко, не унижаясь. Эта пара — Андрий и полячка — настолько хороша, что звучит несомненная правда в словах Андрия: «Отчизна есть то, чего ищет душа наша, что милее для нее всего. Отчизна моя — ты». Это не вульгарное «нас на бабу променял», а высокое и праведное в своей искренности чувство.

Гоголю совершенно неинтересно представлять Андрия заурядным предателем. Он должен быть равен Тарасу и Остапу. В этом смысл эпоса: капризы Ахилла не мешают его безупречности.

Точно так же не беспокоят Гоголя сомнительные достоинства его второстепенных персонажей. Бандит Балабан и вор Мосий Шило творят чудеса храбрости, начисто списывая свои прошлые грехи. В этом гоголевском мире, как в мире гомеровском, существует лишь доблесть. Если она есть — все остальное не важно, если нет — нет и героя.

Доблести в «Тарасе Бульбе» достаточно. В первом варианте повести описание битвы у осажденного польского города занимало 12 строк. Но, переделывая «Бульбу», Гоголь увеличил описание до 14 страниц — почти 50 раз!

Леденящие душу батальные сцены не имеют себе равных в русской литературе. И правильно — их источники совсем в другом времени и в другом краю. Стоит сравнить эпизоды из произведений Гомера и Гоголя, чтобы убедиться в явном если не заимствовании, то во влиянии (в чем признаться не зазорно, поскольку речь идет о самом Гомере) — вспомним при этом, что Гоголь читал «Илиаду» по-русски, в том же переводе Гнедича, что и мы.

«Нагнулся, чтобы снять с него дорогие доспехи. И не услышал Бородатый, как налетел на него красноносый хорунжий»

«Как плавающий в небе ястреб, давши много кругов сильными крылами, вдруг бьет оттуда стрелой... так Тарасов сын, Остап...»

«Вышиб два сахарных зуба палаш, рассек надвое язык»

«С рамен совлекал победитель доспехи... Вдруг на Филида нагрянул Долопс Ламедит, илионский славный копейщик».

«Как орел быстропарный на добычу падает, быстро уносит и слабую жизнь исторгает — так у тебя, Менелай...».

«Зубы вышибла острая медь и язык посредине рассекла».

Есть в запорожской повести свой список ахейских кораблей, тот самый, который Мандельштам «прочел до середины»:

«Один за другим валили курени: Уманский, Поповический, Каневский, Стебликивский, Незамайковский, Гургузив, Тытаревский, Тymoшевский».

Есть и одноименные, как Аяксы, богатыри:

«Пысаренко, потом другой Пысаренко, потом еще Пысаренко».

Есть почти дословный (уже не Гнедича, а свой) вариант прощания Гектора с Андромахой:

«Чтоб я стал гречкосеем, домоводом, глядеть за овцами да за свиньями да бабиться с женой? Да пропади она: я козак, не хочу!»

Удалая вольница была заложена в «Тараса Бульбу» изначально. Переделывая повесть, творя из повести эпос, Гоголь усилил эпические черты и тут встал перед неизбежным противоречием. Дело в том, что эпический герой — вовсе не герой в системе представлений нового времени. И уж, конечно — не положительный герой. Но ведь Гоголь творил именно сверхположительных героев — тех самых, которые могли бы передать эстафету светлейшим будущим образам 3-го тома «Мертвых душ».

Нетрудно вообразить, что в представлении современников (демократов-разночинцев, в первую очередь) душевной красоте Тараса и его друзей мог помешать еврейский погром, описанный в «Бульбе» с несравненной веселостью:

«Жидов расхватали по рукам и начали швырять в волны. Жалобный крик раздался со всех сторон, но суровые запорожцы только смеялись, видя, как жидовские ноги в башмаках и чулках болтались на воздухе».

Интонация изложения здесь настолько легка, что ускользает главное: ведь «бедные сыны Израиля, растерявшие все присутствие своего и без того мелкого духа» — убиты.

Просвещенным современникам Гоголя могли прийти не по вкусу и другие действия главного героя:

«Не уважили козаки чернобровых панянок, белогрудых, светлооких девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями... Козаки, поднимая копьями с улиц младенцев их, кидали к ним же в пламя».

Но эпические персонажи и не могут вести себя иначе: в мифах, легендах и былинах герои едят мясо собственных детей и разрубают друг друга пополам. Однако Гоголь и его читатели были людьми XIX столетия, их мораль требовала обоснования Тарасовых вольностей.

На помощь противоречию пришла идеология.

Все, что творили запорожцы, — они делали ради Веры, Товарищества и Отчизны.

Стихия удали получила идейную направленность. На смену козацкой этике — «Неприлично благородному человеку быть без битвы» — приходит новая формула. Она отнюдь не отменяет прежнюю, но существенно расширяет ее:

«Чтобы пропала даром козацкая сила, чтобы человек сгинул, как собака, без доброго дела, чтобы ни отчизне, ни христианству не было от него никакой пользы?.. Так на какого чорта мы живем?»

Теперь другое дело. Теперь оправдано все: «Садись, Кукубенко, одесную меня! — скажет ему Христос». Скажет, заметим, тому самому Кукубенко, который за три страницы до вознесения «иссек в капусту первого попавшегося» — тоже христианина, правда, католика. В праведности своих действий уверен и атаман Балабан:

«Сдается мне, паны-братья, умираю хорошей смертью: семерых изрубил, девятерых копьем исколол. Истоптал конем вдоволь, а уж не припомню, скольких достал пулею».

Все это можно было бы считать пародией, если бы не замечательный гоголевский текст, в котором кощунство пребывает совершенно гармонично и естественно. Быть может, единственный раз русскому писателю удалось создать строго идеологическое произведение такого высокого качества.

Герои эпоса Гоголя — язычники, каковым только и могут быть герои эпоса. Язычниками они остаются и в своей вере, которая на самом деле не христианство, не православие — а патриотизм.

А ведь любовь к родине вовсе не предполагает любви к человеку — потому так достоверны Тарасовы козаки, словно случайно названные христианами.

Вера в Россию, по Гоголю — это и есть вера в Бога.

В книге патриархально-мистическому пониманию Тараса и Гоголя противостоит не только романтическая концепция Андрия (отчизна — любимая женщина), но и рациональный взгляд западника — еврея Янкеля, который примечательно отвечает на вопрос Тараса, уклоняясь от трактовки патетических категории:

«Так это выходит, он, по-твоему, продал отчизну и веру? — Я же не говорю этого, чтобы он продавал что: я сказал только, что он перешел к ним».

Янкель отвратителен автору именно не еврейством, а рационализмом, отрицающим стихийную — то есть единственно истинную — духовность. Еврей Тарасу, по сути, не враждебен, а чужд — настолько, что Тарас ощущает с ним почти видовое различие. Тот и говорит не по-иностранному, а по-нечеловечески: «Их языка сам демон не поймет», и живет по-нелюдски: «Скинул полукафтаны и, сделавшись в своих чулках и башмаках несколько похожим на цыпленка, отправился со своею жидовкою в что-то похожее на шкаф».

Автору «Тараса Бульбы» чужды все, кто не разделяет его веры в Россию. У него русское — это не просто особенное, но самое лучшее:

«Нет, братцы, так любить, как русская душа... Нет, так любить никто не может!»

Это, конечно, и будущий Тютчев — «Умом Россию не понять», и чуть не дословно будущий Блок — «Да, так любить, как любит наша кровь, никто из вас давно не любит!» Вообще, блоковские «Скифы» — парафраза «Тараса Бульбы»: как раз запорожцы «держали щит меж двух враждебных рас — монголов и Европы» — это, конечно, басурманы и ляхи.

Великая патриотическая книга Гоголя, признанная детским чтением и забытая уже старшеклассниками, имела, тем не менее, огромное значение — именно в силу уникальности. «Тарас Бульба» оказался языческим русским эпосом, которого так не хватало российской письменной литературе и из которого вышел главный дефицит русской словесности — сильные нерассуждающие герои, красивые, как в скандинавских сагах, во всех измерениях.

Чеканные гоголевские формулы укоренены в самой сути российской жизни — еще более, чем в литературе:

«Я тебя породил, я тебя и убью!»

Или:

«Как умеют биться на Русской земле и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру».

Тут потрясает универсальность подхода: признано, что сражаться и жить кое-как умеют и другие, но уж правильно умирать — только русский человек. Потому, можно догадаться, что ему есть за что умирать — за Россию. Эта святая вера охватывает все мыслимые формы бытия — до и после физической смерти.

Написать патриотическую книгу — очень легко. Написать хорошую патриотическую книгу — необыкновенно трудно.

Гоголю это удалось.

Но сам Гоголь не воспользовался своей великой победой. Он, переписывая «Бульбу», создавал «Илиаду» — в пару и в преддверие к еще не написанной «Одиссее». Он наскоро построил вестибюль грандиозного здания «Мертвых душ». Он видел и ощущал его величественные очертания, его олимпийские высоты. Он жил с понятным победным ощущением. Он поспешил даже вписать в свой малый эпос самого себя — свидетеля, сказителя, рапсода — появившись в последнем абзаце «Тараса Бульбы»:

«Блестит речное зеркало, оглашенное звонким ячаньем лебедей, и гордый гоголь быстро несется по нем...»

Вот так несся гордый Гоголь к вершинам российского эпоса — туда, к третьему тому «Мертвых душ», в светлом сиянии которого выселись велелепный Ноздрев, громоподобный Плюшкин, богоравная Коробочка.